



## Л. ШЕСТОВ

### Преодоление самоочевидностей (К столетию рождения Ф. М. Достоевского)

<Фрагменты>

Τίς δ' οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μὲν ἔστι  
καθναεῖν, τὸ καθναεῖν δὲ ζῆν.  
Εὐριπίδης<sup>1</sup>

<...>

Нельзя миновать здесь небольшой рассказ «Сон смешного человека», не попавший в качестве эпизода ни в один из романов Достоевского и нашедший себе приют на страницах «Дневника писателя». Рассказ, почти никому не известный, как и другой, непосредственно с ним связанный и тоже появившийся на страницах «Дневника писателя», рассказ «Кроткая». Оба рассказа написаны так же вдохновенно и с тем же подъемом, как и «Записки из подполья», «исповедь» Ипполита и другие многочисленные шедевры, которыми, точно бесценными алмазами, сверкает художественный венец Достоевского. «Сон смешного человека» является продолжением за полгода до того написанного рассказа «Кроткая». Этот последний Достоевский нашел нужным, как и «Записки из подполья», оправдать в «примечании». И точно, он нуждается в оправдании, хотя и не может быть оправдан теми соображениями, которые приводит Достоевский.

Вот вкратце его содержание. Герой, отставной офицер, человек безмерно и несправедливо обиженный в прошлом, как и все «истинные» герои Достоевского. Обиженный не так, как князь Мышкин — эпилепсией и т. п., а обиженный так, что *ничего* за душой не осталось, кроме «идеи», воплотившейся в ссудной кассе. И вот он встречается и женится на девушке — она-то и есть кроткая, — первом существе, которое он полюбил от всей души. До того полюбил, что готов с ней даже своей «идеей» поделиться. И уже собрался делиться, но на день, на час задержался: все проверял себя, ее. Но в этот же день доведенная до отчаяния женщина выбрасывается с иконой в руках из окна и разбивается насмерть. Хорошо придумано: такой человек подготовлен к «вопросам». Послушайте их в передаче самого Достоевского. «Что мне теперь ваши законы? К чему ваши обычаи, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, ваш гласный суд, и я скажу,

что не признаю ничего. Судья крикнет: “Молчите, офицер”. А я закричу ему: *где у тебя такая сила, чтоб я послушался?* Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже. Я отделяюсь. О, мне все равно!.. Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! “Есть ли в поле жив человек?”, — кричит русский богатырь. — Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается... Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них — молчание». Таким вопросом кончается рассказ. Нет такой силы у «судьи», которая заставила бы офицера, содержателя ссудной кассы, послушаться его... Продолжение «Кроткой» — «Сон смешного человека» знакомит нас с «психологией» человека, которому «все равно». Скажут, что и знакомить тут нечего и что никакой «психологии» у человека, которому все равно, быть не может. Но, как значится у Достоевского в подзаголовке, «Сон смешного человека» — «фантастический рассказ». А сущность фантастического ведь и состоит в самых неожиданных метаморфозах, когда «ничто» на наших глазах каким-то непонятым, чудесным образом превращается в самое важное, τὸ τίσιότατον. Так было у Плотина, который нашел Бога там, где все видели ничто. Так было у Достоевского. Ведь он и для «каприза» требовал гарантии, ведь он добивался второго измерения времени именно потому, что хотел «узаконить» фантастическое, поставить его на то место, которое в общем сознании занимало до сих пор «естественное». Рассказ начинается так: «Я смешной человек. Они меня теперь называют сумасшедшим. Это было бы повышением в чине, если бы я еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде». Вы видите, что в 1877 году, т.е. через пятнадцать лет после «Записок из подполья», Достоевский все еще продолжает досказывать недосказанную повесть об отвергнутом всемирном человеке. Для всех этот смешной, отвратительный человек — гадкий утенок, которому бы лучше и не родиться на свет, а если он уже родился, то лучше всего было ему спрятаться подальше, поглубже от всех. Даже не от других, а от самого себя спрятаться, ибо всемирно и в нем самом живет — и «судит» его, возмущается его уродством. Это смешной человек и сам знает: он так же невыносим для себя, как и для других. Но вот невесть откуда пришло к нему это странное «все равно» — Достоевского больше всего, как мы знаем, занимает невесть откуда являющееся, и весь он превращается во внимание. Что это за «все равно», зачем оно? «Я хоть узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве (о том, что я смешон), но почему-то стал немного спокойней. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить, почему. Может быть, потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое уже было бесконечно выше меня: именно, это было постигшее меня убеждение в том, что на свете везде *все равно*. Я очень давно предчувствовал это,

но полное убеждение явилось в последний год как-то *вдруг*. Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир или если бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом своим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что никогда ничего не будет». — Остановимся и спросим у себя! Что это за фантастические «вдруг», которые приводят за собой еще более фантастические «все равно», «ничего при мне не было», «ничего до меня не было», «ничего никогда не будет», так настойчиво выдвигаемые или вырываемые Бог весть откуда Достоевским? Не вправе ли, не *обязаны* ли мы тут повторить вслед за Аристотелем то, что он сказал об Гераклите, отрицавшем закон противоречия: такое можно говорить, но такого нельзя думать? Ведь если не унять смешного человека, то повалится не только закон противоречия, незыблемейший из принципов, но и все вообще принципы, начала, все «всемство» повалится. И от «каприза» человека, да еще такого, для которого, по собственному признанию, сумасшествие было бы повышением в чине! Это нужно сказать себе открыто, но тоже нужно сказать открыто, что, «приведя к молчанию» смешного человека, мы бы заставили замолчать самого Достоевского. И не одного Достоевского, а и Платона с его пещерой<sup>2</sup>, Плотина с его единым, Эврипида, не знающего, что такое жизнь и что такое смерть... Соблазняет вас это? Соблазняет вас мысль остаться при одном *μέτριος εἰς ὑπερβολήν* (до крайности умеренном) Аристотеле? Спорить тут нельзя: можно только спросить и пойти дальше...

Так вот, смешной человек, которому все равно, при котором ничего не было и который убедился, что и вообще никогда ничего не будет, принял решение: покончить с собой. Если хотите, вы можете подразнить Достоевского, благо есть готовая аргументация, уже две с половиною тысячи лет тому назад придуманная: если ничего нет и не было, то нет и смешного человека, нет решения покончить с собой, нет и всего его «вдруг», нет и рассказа о том, что смешной человек решил и т.д. Все это, конечно, вы можете сделать, и Достоевский знал, что вы можете так дразнить его и будете дразнить, будете смеяться и не захотите его даже сумасшедшим признать — чина пожалеете. И все-таки продолжал рассказ, нагромождая бессмыслицу на бессмыслицу, противоречие на противоречие, которые бы стоили того, чтоб их целиком привести, если бы позволяло место. Кто хочет подойти ближе к Достоевскому, тот должен производить особого рода *exercitia spiritualia*<sup>3</sup>: проводить часы, дни, годы в атмосфере взаимно друг друга исключаящих самоочевидностей — другого способа нет. Таким, только таким образом можно «увидеть», что время имеет не одно, а два и бо-

лее измерений, что «законы» не существуют от вечности, а «даны», и даны только затем, чтобы проявился «грех», что спасают не дела, а вера, что смерть Сократа может разбудить окаменелое дважды два четыре, что Бог всегда требует невозможного, что гадкий утенок может превратиться в красавца лебедя, что здесь все начинается и ничего не кончается, что каприз имеет право на гарантии, что фантастическое реальнее естественного, что жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь и все прочие «истины», которые глядят на нас своими странными и страшными глазами со страниц сочинений Достоевского...

И смешному человеку пришлось Бог знает до чего досмотреться, додуматься — хотите знать до чего, перечтите этот небольшой, всеми забытый, но замечательный рассказ, — чтобы добыть «новую» истину, добыть и потерять в тот же миг, как он ее нашел. Причем поразительнее всего, что истина эта вовсе и не новая, а самая старая истина, старая почти как мир, ибо она была открыта человеку чуть ли не на другой день после сотворения мира. Открылась, была вписана в Книгу Книг и тотчас же всеми была позабыта. Вы догадались, конечно, что я имею в виду сказание о грехопадении. Смешной человек, решивший уже покончить с собой, т.к. ему было «все равно», уснул и во сне увидел то, о чем рассказано в Библии. Ему приснилось, что он попал к людям, не вкусившим плодов от дерева познания добра и зла, не знавшим еще стыда, не имевшим знания и не умевшим и не хотевшим судить. «Дети солнца, дети своего солнца — о, как они были прекрасны. Никогда я не видал на нашей земле такой красоты!» «Мне казалось неразрешимым, что они, зная так много, не знают нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, и я это понял, но не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои... и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них... и знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и я убежден, те понимали их». Ни в одной из современных теорий познания вопрос о сущности и назначении научного знания не поставлен с такой глубиной и остротой. Только в древности — ясновидящие Платон и Плотин (о них, конечно, Достоевский и представления не имел) подходили и, поскольку дано смертным, осуществляли поставленную себе Достоевским задачу: отказаться от научного знания, чтобы постичь Истину. Истина и научное знание непримиримы. Истина не выносит



оков знания, она задыхается в тяжких объятиях «самоочевидностей», дающих достоверность нашему знанию. Наука, продолжает смешной человек, «открывает законы» и ставит «законы счастья выше счастья», наука хочет «научить жить». А Истина над законами, и законы для нее то же, что для Достоевского были когда-то стены тюрьмы и каторжные кандалы. Достоевский сам поражен и ослеплен своим вещим прозрением, сам не знает, принять ли его или не принять, сон это или явь, бред или откровение. «Но как же мне не верить, что это было? — спрашивает он. — Было, может быть, в тысячу раз лучше, чем я рассказывал. Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете, я скажу вам секрет; все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть мой сон породило мое сердце, но разве одно сердце мое могло породить эту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели мелкое сердце мое и капризный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды. О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех». Чем развратил этот человек земли обитателей рая? Он дал им наше «знание» или, говоря словами Св. Писания, убедил их вкушать плодов от запретного дерева. И вместе с знанием пришли все земные ужасы, пришла смерть. «Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель», — продолжает Достоевский излагать и комментировать краткое библейское сказание. Тут науки одной недостаточно было, вместе с наукой выросла — от того же корня — и «эфика»<sup>4</sup>; мир превратился в замороженное «законами» царство, люди — из свободных существ в безвольных автоматов... И только у некоторых из них в редкие минуты просыпается страшная тоска по настоящей жизни и вместе с этой тоской смутное сознание, что та сила, которая владеет ими и направляет их и которую они обоготворили, есть сила вечного сна, смерти, небытия. Это и есть «анамнезис» Платона, пробуждение Плотина. Это то, что людям дается, но чего люди не могут добыть своими силами, своей заслугой, своими «делами». Читатель видит, что эту «правду» Достоевский не сам выдумал, не мог сам выдумать. Он оттого и говорит об «откровении» правды, что правда ему открылась. Это — та правда, которая — хотя она всем известна, ибо записана в книге, наиболее читавшейся людьми, все же остается правдой сокрытой. Но поразительней всего, поразительней, чем все то, что Достоевский до сих пор нам рассказывал, — это конец «Сна смешного человека». Мысль о самоубийстве после того, как открылась Истина, отброшена. «О, теперь жизни, жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной Истине; не воззвал, а заплакал: восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь и проповедь!

О проповеди я порешил в те же минуты и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!» Проповедовать истину! Иду проповедовать истину — т.е. отдаю ее «всемству», которое, конечно, прежде чем принять ее, потребует, чтоб Она подчинилась закону. Вы понимаете, что это значит?

Второй раз, не во сне, а уже наяву, с Достоевским случилось то «ужасное», о чем он нам только что рассказал. Он предал открывшуюся ему вечную Истину ее злейшему врагу. Во сне он «развратил», по его словам, безгрешных обитателей рая. Теперь он спешит к людям, чтобы наяву повторить то преступление, которому он так ужаснулся!

## ХII

Мы стоим пред величайшей тайной, к которой когда-либо приходилось подходить человеку, — пред тайной грехопадения... И, быть может, читатель согласится, что все внутренние борения и напряжения Достоевского имели только один смысл и единое значение: если не постичь, то хотя бы приобщиться к этой тайне... Ибо постичь и овладеть ею нам не дано, как и не дано овладеть Истиной. По самой своей природе тайна такова, что она не может быть открыта, а Истина постигается нами лишь постольку, поскольку мы не желаем овладеть ею, использовать ее для «исторических» нужд, т.е. в пределах единственного известного нам измерения времени. Как только мы захотим открыть тайну или использовать Истину, т.е. сделать тайну явной, а Истину всеобщей и необходимой — хотя бы нами руководило самое возвышенное, самое благородное стремление разделить свое знание с ближним, облагодетельствовать человеческий род и т.п., — мы мгновенно забываем все, что видели в «выхождении», в «исступлении», начинаем видеть, «как все», и говорим то, что нужно «всем». Т.е. та логика, которая делает чудо превращения отдельных «бесполезных» переживаний в общепользней «опыт» и таким образом создает необходимый для нашего существования прочный и неизменный порядок на земле, эта логика — она же и разум — убивает Тайну и Истину. В последний раз, вновь собравши все свои огромные силы, писал на эту тему Достоевский в «Братьях Карамазовых».

Эпиграфом к «Братьям Карамазовым» Достоевский взял, как мы знаем, стих из 4-го Евангелия, но мог бы взять и собственные слова из «Записок из подполья», уже приведенные нами раньше. «Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я его вижу, не хочу им быть (хотя все-таки не перестаю ему завидовать). Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее. Там по крайней мере можно!

Эх, да ведь я и тут вру! Вру потому, что и сам знаю как дважды два четыре, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду и которого никак не найду! К чёрту подполье!» Да здравствует подполье, к чёрту подполье: этот резкий, режущий диссонанс проходит через весь роман, каждая строчка которого тоже свидетельствует о великой жажде и неутолимой тоске по «чем-то другом», чего автор найти не может. Пшеничное зерно, если не умрет, останется одно, если же умрет, принесет плоды. Как умереть? Уйти навсегда в подполье? Это ужасно! Вырваться из подполья — это выше человеческих сил. Присоединиться к нормальным людям и самому стать нормальным человеком — тот, кого посетил однажды ангел смерти, уже не способен. Оттого в «Братьях Карамазовых» так много страшных вопросов и, как иногда кажется, все умышленно, сознательно мнимые ответы. В одном только не «противоречит» себе Достоевский: принятые, существующие ответы, ответы здравого смысла и науки по-прежнему ему представляются абсолютно неприемлемыми. Но, прежде чем перейти к «Братьям Карамазовым», позволю себе небольшое отступление, которое, быть может, до некоторой степени поможет нам если не ориентироваться, то хотя сколько-нибудь осмотреться в тех непроходимых дебрях, в которые нас завел Достоевский.

Все знают прославленного немецкого историка христианства проф. Адольфа Гарнака<sup>5</sup>. Выслушаем и его свидетельство: ему пришлось, по роду его занятий, долго и внимательно вглядываться в те «тайны», среди которых жил Достоевский. Но, в противоположность Достоевскому, Гарнак обладал только одним зрением и притом, как историк, был глубоко убежден, что только одно зрение и дано человеку, т.к. время имеет только одно измерение. Он не пропускает случая напомнить своим читателям, что закон противоречия — есть основной закон нашего разума и что никто не может безнаказанно пренебрегать законами разума и основанной на этих законах наукой. И вот этот же ученый историк пишет (*Dogmengeschichte* III, 81): «В мире не было еще никогда такой крепкой религиозной веры, которая в основном, *решающем* моменте не ссылалась бы на *внешний* авторитет, которая бы черпала свою прочность исключительно в собственных внутренних переживаниях. Слова нет, в этих последних сила, которой она обязана своим бытием и сохранением. Но разве не требуются к тому же *условия*, при которых эта сила становится *действенной*? Иисус Христос ссылается на авторитет Ветхого Завета, первые христиане — на предсказание, Августин — на церковь, даже Лютер ссылается на писаное слово Божие... Жизнь и история показывают, что вера не может быть влиятельной и плодотворной, если она не предполагает внешнего авторитета и не имеет твердого сознания

своей власти». Так говорит проф. Гарнак в тексте. В примечании же он добавляет: *ich sehe die Tatsache, aber ich verzweifle daran, ihren letzten Grund zu finden*, т.е. видеть факт — вижу, но как объяснить его, ума не приложу. Свидетельство важности необычайной — принимая во внимание личность свидетеля, — и миновать его никак нельзя. Правда, нужно предварительно, прежде чем им воспользоваться, это показание подвергнуть некоторой критической проверке. «Никогда не было веры». Никогда? Откуда проф. Гарнаку известно, что «никогда»? История, которую он, правда, изучил лучше кого бы то ни было, не сохранила ему ни одного случая такой веры, которая бы не опиралась на внешний авторитет. Но разве история сохраняет все случаи, все факты? Или хоть большинство? Разве вообще задача истории сохранять факты? Из бесконечных миллиардов случаев и фактов история извлекает очень немногие и исключительные, да и то уже «истолкованные», т.е. приспособленные для каких-то целей. А Гарнак уверенно говорит: «никогда». Ясно, что свою уверенность он почерпал не из истории, которая такой уверенности дать не может, и не из изучения «фактов», ибо всего, что было на свете, проф. Гарнак изучить и даже пересмотреть не мог. Ясно, что свое «никогда в мире» Гарнак почерпал из другого источника. Это разум и те предпосылки науки, от которых, по его убеждению, нельзя безнаказанно отрекаться, внушили ему уверенность, что он вправе превратить свое свидетельское показание во всеобщее и необходимое суждение. Хорошо, если вы точно так уже боитесь наказания, что не отречетесь, даже ради истины, от директив разума и науки. И если вы так легковверны и неопытны, что в самом деле убеждены, что покорность науке и разуму освободит вас от «наказания». Но Достоевский, как мы помним, не так пугался наказания: иной раз, говорил он нам, человек любит страдание больше, чем благоденствие. И от Достоевского же мы слышали, что самая благонамеренная покорность от наказания не освобождает, да и Спиноза «учит», что *experientia in dies reclamavit, et infinitis exemplis ostendit, commoda atque incommoda piis aequae ac impiis promiscue evenire*<sup>6</sup>.

Послушные и непослушные, благочестивые и нечестивые люди — одни раньше, другие позже — понесут кару: на последнем, страшном суде нет оправдательных приговоров, «наказания» не избежит никто. Так что Гарнак переступил за пределы своих свидетельских полномочий и сверх показания о том, что он видел и слышал, рассказал нам еще свою теорию о правах разума. Еще, быть может, уместно спросить о законности выражения «даже Лютер». Христос, первые христиане, Августин и «даже Лютер». Полагаю, что «даже» лучше бы опустить. Но после сделанных ограничений свидетельство историка Гарнака должно быть полностью принято. Только тогда оно получит несколько



иной смысл. Не то, что «никогда в мире не было такой веры», — о том, что было и чего не было в мире, ученый историк знает так же мало, а может, и меньше, чем неученый странник. Из того, что было в мире, историк знает только то, что попало в реку времени, т.е. то, что оставило в мире *видимые для всех* следы. Видимые для всех, — конечно, в том смысле, что если кто-либо откроет эти следы, то и все их увидят. А что следов не оставило, о том историк ничего не знает и знать не хочет и еще меньше хочет знать о том, что хоть и было, но не может быть всем показано. Стало быть, если в мире была когда-нибудь вера, которая не опиралась на внешний авторитет и вообще обходилась без всякого авторитета, и если эта вера не оставила после себя следов, то для историка она как бы и не была. Историк ищет и находит только «действенные» явления. Так что Гарнак, если бы он хотел ограничиться ролью свидетеля и говорить только от своего имени (ибо ведь суждения разума и без него всем известны), должен был бы сказать, что никогда в мире не было не крепкой, а действенной веры, которая не опиралась бы на внешний авторитет, подобно тому как никогда в мире не было влиятельного ученого исследователя (историка, ботаника, геолога — все равно), который бы только сообщал «факты» и не пользовался бы авторитетом разума. Даже Христу, для того чтоб Его услышали люди, нужно было сослаться на Св. Писание, тем более первым христианам или Лютеру. Если бы Гарнак так дал свои показания, может быть, констатированный им «факт» приобрел бы тогда иное значение. Совершенно неожиданно выяснилось бы, что «веры» Христа и даже Лютера люди никогда не могли «принять» и не приняли, что «веру» проповедовать и нельзя, что вера не может быть «действенной», т.е. определять собою движение исторических событий; что то, что люди, т.е. всемирство, называют «крепкой верой», совсем не то, что было у Христа и даже у Лютера, а есть только совокупность правил и принципов, которым все повинуются и все поклоняются лишь потому, что никто не знает, откуда они пришли, что людям «вера» и не нужна вовсе, а нужен только авторитет, незыблемый порядок, тем более прочный, чем меньше известно, откуда он пришел. Так же точно люди верят и в разум, и в науку, и даже в то, что наказание грозит лишь тем, кто разумом и наукой пренебрегает, а тем, кто не пренебрегает, не грозит.

### ХІІІ

Достоевский не был историком, не обязан был думать, что все, что на наших глазах начинается, на наших глазах и кончается. Мы помним, что конца для того, что он считал самым важным, для своего *то тшчѡтатов*, для своего «каприза», он искал во втором измерении

времени, т.е. вне истории. Там, надеялся он, стена перестанет быть стеной, дважды два четыре потеряет свою наглую самоуверенность, атомы лишатся охраны, Сократ и Дж. Бруно из лишенных прав обратятся в главный предмет заботы и т.д. Но вместе с тем Достоевский, как и мы все, был сыном земли, стало быть, и ему хотелось, порой нужно было, не только «созерцать», но и «действовать». Мы отмечали это «противоречие» и во всех его предыдущих писаниях. С особенной силой оно сказалось на «Братьях Карамазовых» и «Дневнике писателя».

В «Братьях Карамазовых» Достоевский по-прежнему продолжает свой «опыт» — не тот «общий» опыт, о котором говорит Кант, опыт, держащийся на самоочевидностях, а свой особенный, личный опыт, который имеет задачей своей преодолеть самоочевидности. Но в этом же романе, как и в публицистических статьях, появлявшихся в «Дневнике писателя», словно выполняя программу проф. Гарнака, он неудержимо стремится заручиться поддержкой авторитета. Знает, что его «вера» не будет «действенной», пройдет мимо истории, если не найдется внешний авторитет, достаточно прочный, чтоб казаться людям незыблемым.

Кто «герой» «Братьев Карамазовых»? Если считаться с предисловием — младший Карамазов, Алеша. И еще старец Зосима. Но в таком случае отчего страницы, посвященные Алеше и старцу, — самые слабые, самые бледные страницы? Только раз на протяжении всего романа вдохновился Достоевский, говоря об Алеше, и доверил ему одно из тех своих видений, которые открывались ему в минуты высшего подъема. «Он (Алеша), вдруг повернувшись, вышел из кельи (почившего старца Зосимы). Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный путь. Светлая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, падая и обливая своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить во веки веков. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился иступления сего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным». Правда, во всем, что писал

Достоевский, вы не найдете больше ни одного такого места. Правда, что на эту же тему, хотя далеко не так просто, сильно и вдохновенно, говорит однажды в своих сочинениях и старец Зосима, — но это все, что решился отдать Достоевский своим казовым героям. И только один раз, повторяю, он сам так говорил, словно чувствуя, что много о *таком* и говорить нельзя. Или, может быть, потому, что увидеть *такое* можно лишь из бездонной пропасти и подполья и только на фоне и одновременно с теми «истинами», которые раньше открыл нам подпольный человек? Похоже, что оба предположения должны быть допущены. «Соприкасание мирам иным» и есть, надо полагать, та «вера», возможность которой не допускает проф. Гарнак, — вера, никогда никакого внешнего авторитета не принимавшая, не попавшая в историю, не оставившая никаких следов. «Вера», пренебрегшая делами, ничего не давшая человечеству и потому объявленная наукой «не существующей». Она для Достоевского и была тем *τὸ τιμιώτατον*, тем вечным капризом, для которого он требовал и искал прав, гарантий, которую он с таким неслыханным дерзновением пытается вырвать из власти не только «авторитета», но и самой истории с ее самоочевидностями. В этом смысле «Братья Карамазовы» — как я уже говорил — продолжение «Записок из подполья». И в самом деле, такие главы, как «Бунт», «Тлетворный дух», «Братья знакомятся», легенда о великом инквизиторе, — целиком могли бы быть помещены в «Записках». Пьяный, беспутный, да еще к тому же невежественный Дмитрий Карамазов произносит речи, которых бы не постыдился Платон или Плотин. Он цитирует Шиллера. И когда доходит до стихов:

И куда печальным оком  
Там Церера ни глядит,  
В унижении глубоком  
Человека всюду зрит, —

из его груди вырываются рыдания. «Друг мой, — говорит он брату, — в унижении, в унижении и теперь. Страшно много на земле человеку терпеть, страшно много ему бед... Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном человеке». И через несколько минут тот же невежественный офицер продолжает: «Красота это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень не образован, но я много об этом думал». Много думал! Разве необразованный человек может «думать»? И разве то, что делает Митя, вправе называться «мышлением»? Возмущение, негодование, погоня за противоречиями, неопределен-

мым — это ведь все что угодно, только не «мышление». Мы помним, что по «учению» Спинозы, отца новой философии, мы должны вытравить из себя всякое представление о Bonum et Malum, Pulchritudo et Deformatio<sup>7</sup>, если хотим «мыслить». Тот же Спиноза «учил»: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere<sup>8</sup>. И если люди чему-нибудь «выучились» от Спинозы — то именно этой готовности ради чистого мышления, ради «понимания» забыть и о красоте, и о добре, самим превратиться в «сознание вообще», которое не смеется, не плачет, не проклинает и только взвешивает, измеряет, считает, как и математика, по образу и подобию которой сотворено «сознание вообще». Я уже не говорю о том, что такие выражения, как «берега сходятся», «все противоречия вместе живут», должны казаться бредом или бессмысленным соединением случайно сбитых в одну фразу слов. «Was einen vollkommenen Widerspruch enthält, kann nicht richtig sein und Jederman ist berechtigt, den Widerspruch schonungslos als solchen zu bezeichnen»<sup>9</sup>, — повторил бы проф. Гарнак, если бы ему довелось прочесть Достоевского, то, что он говорит об Афанасии Великом (D. G. II, 225). И с таким же негодованием принял бы он и «неопределимое», которым упивается невежественный Митя. Здесь все это попытки свалить βεβαιωτάτη τῶν ἄρχῶν<sup>10</sup>, тот могущественнейший закон противоречия, который со времени Аристотеля считался основой самой возможности мышления. Но Достоевского это не останавливает и не пугает. Он помнит, что indocti rapiunt coelum<sup>11</sup>, он помнит, что «дважды два четыре» есть начало смерти, пришедшее к человеку от дерева познания добра и зла. Можно освободиться от проклятия познания? Можно ли человеку перестать «судить», осуждать, можно ли не стыдиться наготы своей, не стыдиться ни себя, ни того, что его окружает, как не стыдились наши праотцы, прежде чем змий не убедил их вкусить от плодов запретного дерева? Об этом идет великий, последний спор в «Легенде о Великом инквизиторе» между девяностолетним кардиналом, воплотившим в себе все человеческое «знание», и самим Богом. Долго, девяносто лет, молчал старик — наконец не вытерпел, заговорил. Кардинал говорит Богу: что предложил ты людям, что можешь ты им предложить? Свободу? Люди не могут принять свободу. Людям нужны законы, определенный, раз навсегда установленный порядок, чтобы различать, что истина, что ложь, что можно, что нельзя. «Имеешь ли Ты право возвестить хоть одну из тайн того мира, из которого Ты пришел», — спрашивает кардинал у Бога и сам отвечает за него — Бог все время безмолвствует, Бог ведь всегда безмолвствует: «Нет, не имеешь. Ты передал дело нам. Ты обещал. Ты утвердил словом, Ты дал нам право связывать и развязывать и уже, конечно, не можешь думать отнять это право от нас». Кардинал имеет в виду, конечно,



Math. 26, 19: Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis et quodcumque solveris super terram erit solutum in coelis<sup>12</sup>. На этом формально держится притязание Католической церкви на potestas clavium и вытекающая из «власти ключей» идея о непогрешимости церкви. Как известно, многие из современных исследователей христианства — к ним, если не ошибаюсь, относится и проф. Гарнак, считают приведенный стих позднейшей интерполяцией. Но, если бы это было и правильно, если бы Церковь не могла основать свои притязания на тексте Св. Писания, это бы несколько не ослабило ее прав. Иными словами: идея непогрешимости вовсе не нуждается в небесной санкции и легко без нее обходится. Разве Гарнак, утверждая, что никто не может безнаказанно пренебрегать наукой и разумом, имел в виду Библию? Уже в древности Сократ, а за Сократом Платон «обосновали» ту мысль, что люди на земле превосходно знают, как нужно «связывать и развязывать», т. е. судить, и что на небе судят так же, как и на земле. Ну, а сейчас в этом никто и не сомневается: наши теории познания делают совершенно излишними ссылки на откровение. Наиболее замечательный из современных философов Эдм. Гуссерль так формулирует эту мысль: «Быть может, во всей жизни новейшего времени нет идеи, которая была бы могущественнее, неудержимее, победоноснее идеи науки. Ее победоносного шествия никто не остановит. Она на самом деле оказывается совершенно всеохватывающей по своим правомерным целям. Если мыслить ее в идеальной законченности, то она будет самым разумом, который *наряду с собой и выше себя не может иметь никакого авторитета*». В том, что философы называли и называют «разумом», разумом, который не может наряду с собой терпеть никакого авторитета и который требует себе поэтому всеобщего поклонения, и заключается идея «непогрешимости» Церкви и «власти ключей». Достоевский это видит с той особой, поражающей зоркостью, которую он проявляет каждый раз, когда Аполлон требует его к священной жертве и принуждает его открыть вещие зеницы «второго» зрения. «Нет заботы, — говорит кардинал, — непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее то, пред чем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним и чтоб непременно *все* вместе. Вот эта потребность *в общности* преклонения есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого всего человечества с начала веков». Нет возможности продолжать дальнейшие выписки: при-

шлось бы всю «Легенду» переписать. Но я не могу не обратить еще раз внимание читателя на то, с какой необычайной прозорливостью, граничащей с ясновидением, поставлен Достоевским труднейший философский вопрос. Не только в обычных учебниках, но и в лучших философских трактатах вы не встретите такой глубины прозрения. Теория познания, этика, онтология — вся философия конструируется совсем по-иному для того, кто примет «посвящение» от Достоевского, кто вслед за ним захочет приобщиться к великой тайне библейского сказания о первом грехопадении, с которого и начались изображаемые кардиналом «мучительные заботы». Я думаю — только тот научится понимать и «врагов» Достоевского: отца и родоначальника новой философии Спинозу, зарывшего от всех свои вечные сомнения под математический метод доказательств, да и Эдмунда Гуссерля, беспечного и торжествующего. Ведь Спиноза — это тот же кардинал, уже в тридцать пять лет постигший ту страшную тайну, о которой у Достоевского шепчется в подземелье девяностолетний старец с безмолвствующим Богом. Как безумно жаждал Спиноза свободы и с какой железной неумолимостью возвещал он о единственном и для людей, и для Бога законе необходимости. И ведь не он один: почти все наиболее мучительно искавшие и жаждавшие свободы люди, верующие и неверующие, с каким-то неслыханно мрачным вдохновением восславляли «необходимость». Лучшее сочинение Лютера, «*De servo arbitrio*»<sup>13</sup>, направлено против Эразма Роттердамского, всячески старавшегося отстоять хоть малую долю свободы человека. Плотин изображал нашу жизнь как представление марионеток или актеров, почти автоматически исполняющих заранее приготовленные для них роли. Марк Аврелий говорил о том же. Гоголь, мы помним, чувствовал себя на земле, как в замороженном царстве, Платон, как в подземелье. В таком же роде изображали нашу жизнь и древние трагики: Софокл, Эсхил и Эврипид и величайший из новых поэтов Шекспир. Люди не то что не свободны, люди больше всего в мире боятся свободы, оттого они и ищут «познания», оттого им нужен «непогрешимый», бесспорный авторитет, т.е. такой, перед которым бы они могли все вместе преклоняться. Свобода и есть ведь тот «каприз», о котором нам рассказывал подпольный человек, но даже каприз здесь, на земле, хочет, мы помним, себе «гарантий», не подозревая, что величайшая его прерогатива — это возможность обойтись без гарантий. Люди создают то, что называется у них «истиной», т.е. иллюзию чего-то, что «имеет власть» и на земле, и на небесах. «Взгляни на то, что сделал ты далее, — продолжает упрекать старик Бога, — и все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать скорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но... вместо

того чтоб овладеть свободой людей, Ты увеличил ее еще больше! Вместо твердых основ для успокоения совести человечества раз навсегда. Ты взял все, что есть необычайного, гадательного, взял все, что было не по силам людей...» Иначе говоря: до сих пор философия, т.е. научная и наукообразная философия, считала и считает себя обязанной «оправдываться» перед «всемством» или, если вам больше нравится школьный термин, пред «сознанием вообще», *Bewusstsein überhaupt*. Она ищет «твердых основ», бесспорного, окончательного, почвы и больше всего страшится свободы, каприза, т.е. всего того, что есть в жизни необычайного, гадательного, неопределенного, не подозревая, очевидно, что именно это необычайное, гадательное, неопределенное, не нуждающееся в гарантиях и защите есть единственный и истинный предмет ее изучения, τὸ τιμιώτατον, о котором говорил и к которому стремился Плотин, та «действительность», которую из своей пещеры разглядел Платон, тот Бог, которого скрыл под «математическим методом» Спиноза и который вдохновлял гадкого утенка, подпольного человека Достоевского, когда он показывал кукиш и выставлял свой отвратительный язык сооруженным людьми хрустальным дворцам. Великие древние мудрецы оставили нам завет: про Бога нельзя сказать, что он существует. Ибо сказавший: «Бог существует» — теряет Бога.

#### XIV

Нужно кончать — не потому, что тема исчерпана, а потому, что статья разрослась. Достоевский — тема неисчерпаемая. Мало кто умел так беззаветно отдавать свою душу последним тайнам человеческого бытия. Но нельзя кончить, не сказавши хоть несколько слов о публицистической деятельности Достоевского, развернувшейся на страницах «Дневника писателя»...

Мы помним, что свой фантастический рассказ «Сон смешного человека» Достоевский заключил призывом к проповеди. Ему вдруг показалось, что он призван не только созерцать, но и действовать, что действие есть единственно достойное завершение созерцания. Забыл он то «ужасное», о котором он сам нам рассказал, — что однажды он уже пытался «проповедовать» и своей проповедью «развратил» людей, которые до него были так невинны, что даже не знали, что такое «стыд». Забыл он и библейскую угрозу, что, съевши плода от дерева познания добра и зла, — «смертью умрете». Т.е., пожалуй, не забыл в собственном смысле этого слова. Даже, если хотите, слишком хорошо помнил и эту «истину», и другие истины, открывшиеся его второму зрению. Забыл он только об одном, что эти истины «бесполезны» по самому существу своему и что всякая попытка сделать их полезными, годны-

ми всегда и для всех, т.е. всеобщими и необходимыми, превращает их из истины в ложь. «Там» он увидел абсолютную свободу, о которой говорит у него Великий инквизитор. Но что делать со свободой среди людей, которые ее боятся больше всего на свете, которым нужно только «преклониться» перед чем-нибудь, для которых твердый, непоколебимый авторитет дороже всего, даже дороже самой жизни? Кто хочет с успехом проповедовать, тот должен подменить свободу авторитетом, как, по словам Достоевского, это сделало католичество, как, по словам Гарнака, это сделал даже Лютер. «Дневник писателя», в общем, не есть даже дневник Достоевского, т.е. не отражает или очень мало отражает (все-таки в «Дневнике» напечатаны и «Кроткая», и «Сон смешного человека» и т.д.) внутренние переживания Достоевского. Это ряд публицистических статей, в которых один человек поучает других, как им жить и что им делать. Как мы раньше упоминали, Достоевский уже и в романах своих делал попытки учить людей. Учительство мы обнаружили и в «Преступлении и наказании», и в «Идиоте», и в «Бесах». В последнем романе Достоевского, в «Братьях Карамазовых», учительство особенно сильно выдвигается. Там сделана попытка нарисовать, в лице старца Зосимы, идеальный образ учителя. Но достаточно сравнить безжизненные, деревянные поучения Зосимы с вдохновенными речами Ивана или Дмитрия Карамазовых, чтоб понять, что истины Достоевского так же боятся всеобщности и так же не выносят ее, как обыкновенные люди — свободу. Устами Зосимы говорит тот же автор, что и устами его подпольных героев, и иной раз говорит то же, что и они говорят, но мы слышим только голос всемства. Получается приблизительно то же, что получилось у Достоевского с отцом Ферапонтом. Когда Достоевский задался целью изобразить такого молчаливника, который бы пришелся по вкусу всемству, у него вышла почти комическая фигура. Когда же он писал своего Кириллова, которого пришлось даже осудить на самоубийство, создалась грандиозная и потрясающая фигура великого молчаливника. Достоевский захотел, чтобы речи Зосимы были понятны всем, вплоть до Клода Бернара<sup>14</sup>. И всем они точно понравились, на них читатели — те читатели, которые знают, что такое жизнь и что такое смерть, — отдыхали. Читая эти пространные наставления, дивишься, как хватало терпения у Достоевского писать их. В них нет и следа того душевного напряжения, того «невесомого», которым умел потрясать души Достоевский и которое дало Паскалю загадочное право противопоставить слабый мыслящий тростник всему огромному миру<sup>15</sup>. Поразительно, что у Достоевского даже Смердяков назван (не побоялся Достоевский!), правда, один только раз, «созерцателем». Зосима же, как и его ученик Алеша, уже «деятели», т.е. те представители всемства, для которых нет ничего выше достоверности и самоочевидных истин,



которые для всего, даже для «каприза», прежде всего требуют гарантий. Публицистика Достоевского — в общем — речи и дела Зосимы и Ферапонта. Зосима давал советы, лечил людей, подавал милостыню, утешал. Ферапонт гнал чертей. Достоевскому, чтобы «действовать», пришлось подчинить свое второе зрение обычному человеческому зрению, гармонизирующему и со всеми остальными человеческими чувствами, и с нашим разумом. Он захотел научить людей, как им нужно жить или, употребляя его выражение, «устроиться с Богом». Но с Богом «устроиться» еще менее возможно, чем «устроиться» без Бога. Сам Достоевский рассказал нам это в «Великом инквизиторе»: откровения не затем даются людям, чтоб облегчать их жизнь, чтоб превращать «камни в хлеб». И не затем, чтоб направлять «историю». История знает только одно направление, от прошлого к будущему, — «откровения» предполагают второе измерение времени. Кто хочет себе «исторического» влияния — тот должен отказаться от свободы и покориться необходимости. Поэтому-то умный дух, великий искуситель, говорил Христу: если хочешь получить «все», овладеть миром, поклонись мне. Тот, кто не поклонится «дважды два четыре», тот никогда не будет господином мира. Повторяю: все это не мои слова, все это видел и говорил Достоевский, пока он находился наедине с собой. Но стоило ему выйти на люди — и он становился «как все». Собственный «опыт», т.е. виденное своими глазами, становился для него бременем. Людям нужен «опыт», о котором говорит Кант, о котором говорит научная философия, опыт, который превращает камни в хлеб, в то, что может «насытить» всех и всегда, который превращает «каприз», отдельное живое существование, в общий принцип, который ставит «закон» над жизнью, который в законах видит сущность жизни и «наглость» как «дважды два четыре», так и других «самоочевидностей» считает доказательством их божественного происхождения.

Результаты получаются неслыханные. Зажатые в тиски всемирности, «исступления» Достоевского становятся «прислужниками» обыденности. Иногда Достоевский просто прикладывает печать «потусторонности» к ходячим мнениям. Он предсказывает, ободряет, увещевает, временами, как отец Ферапонт, изгоняет чертей. Он предсказывал, что Константинополь будет «нашим», предсказывал, что у нас не будет борьбы классов, что Запад утонет в крови и, погибая, будет взывать о помощи к России и т.д. «Без Бога нельзя устроиться», но с Богом, выходило у него, устроиться можно. Мы видим теперь, как жестоко заблуждался Достоевский, — Россия тонет в крови, в России происходят такие ужасы, каких никогда в мире не бывало. И как это ни странно, — быть может, именно потому происходят, что люди, в течение столетий решавшие судьбы России, хотели «устраиваться» с Богом, иначе говоря,

устраиваясь, руководиться теми «истинами», которые открывались Достоевскому его вторым зрением, но которые от них самих были скрыты. И ведь Достоевский это понимал: ведь сам он в «Великом инквизиторе» так вдохновенно рассказал нам, что люди оттого и ушли от Бога, что Он не захотел озаботиться их земным устройством, не захотел «гарантировать» каприз. И все-таки продолжал проповедовать — превращать потусторонние истины в общеобязательные суждения. Соприкоснувшись с «иными мирами», он познал последнюю свободу, но, вернувшись к людям, он повторяет, вслед за славянофилами, что Россия самая свободная страна в мире, и требует, как власть имеющий, чтобы все за ним верили, что Россия самая свободная страна. Он помнит, что ему открылось в его «опыте», что «иной раз человек любит больше страдание, чем благоденствие», «разрушение, чем созидание», что «здесь все начинается и ничего не кончается», что Бог требует невозможного, что «дважды два — четыре» — начало смерти и т.д., и из всех этих мгновенных, загадочных, неопределенных, капризных, недоказуемых и недостоверных истин он хочет выработать политическую программу, т.е. правила, которыми следует руководствоваться в практических делах. Нетрудно себе представить, что из этого получается. Из жажды и тоски по вечной свободе получается славянофильское прекраснодушное утверждение, что Россия самая свободная в мире страна, утверждение, которое Достоевский, научившийся не бояться закона противоречия, провозглашает пред лицом того деспотизма, который и привел Россию к гибели. «Иной раз человек любит больше страдание, чем благоденствие» — для нужд «делания» превращается в так похожее на него и ничего общего с ним не имеющее утверждение: «русский народ любит страдание». И без Достоевского эту «истину» слишком хорошо знали те, которые правили Россией и которые, подбавляя страдания русскому народу, довели страну до того, чему мы являемся сейчас свидетелями. Много и долго можно было бы говорить на эту тему, но, думаю, сейчас лучше об этом помолчать: ибо все, кому близки судьбы России, слишком хорошо понимают, что правящие страной не могут «безнаказанно пренебрегать здравым смыслом и наукой». Бога доказывать, искать Его в «истории» нельзя. Бог — воплощенный «каприз», отвергающий все гарантии. Он вне истории, как и все то, что люди считали своим τὸ τιμιώτατον.

В этом смысл всех творений Достоевского, в этом смысл загадочных слов Эврипида, приведенных мною в начале: Τίς δ' οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μὲν ἔστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν.

